

Я — непрофессиональный писатель

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Я давно уже пишу, 40 лет, и заметил, что читатель мой не уменьшается. Сменяются поколения, а мой читатель остается. Значит — я сказал одному человеку, и все разветвляется. Ведь чтение — это такой феномен великий! Вот сейчас обсуждают, погибнет ли книга в Интернете и прочее. Но это великий феномен общения один на один. Но на самом деле — сумей сказать хотя бы самому себе, все остальное от лукавого.

— Это же непрофессионально. Профессионально, когда поставлено на поток, когда идут большие тиражи.

— Да, сейчас в России уже нарастает профессиональная литература. Не знаю, ужасаться этому или радоваться. Я без всякого пренебрежения скажу, что Маринина как раз профессионал. Я же в эту профессиональную литературу не помещаюсь. Но ведь вся великая русская литература непрофессиональная. Она была создана дворянами, любителями, создавала гениальные образцы, но не создавала тиража. Я этот золотой век литературы очень люблю. Эти мальчики всего-то написали по одной вещи — и то на пулю нарвались, то закашлились, то с ума сошли... Пушкин, Лермонтов, Гоголь... Раз попробовали — брильянт, в другом образе попробовали — опять брильянт. Посмотрите, они даже никогда один и тот же жанр не эксплуатировали! Поэтому романа русского практически нету! Даже Достоевский... Нет, он немножко пытался быть профессионалом, учился у Эжена Сю. Ну а сейчас наступила профессиональная пора, это правда. И хорошо. Хорошо, что нормальный писатель пошел работать и перестал быть членом союза.

— Для вас процесс писания приятный или не очень-то?

— Когда попал «в процесс» — чистый кайф. Но вот попасть трудно. У меня же черновики в голове, а пишу я набело и целиком, сразу. Для этого нужна огромная энергетика. О жанрах много спорят — роман там, рассказ. А я думаю, что вопрос объема — это дыхание. В одно дыхание пишется рассказ, эссе, глава...

— Это ж какое дыхание нужно для «Войны и мира»?

— Потому что и трудно. Написать роман в одно дыхание — это такое затворничество, такая внутренняя мобилизация, при которой ты все-таки меняешься и сам. Поэтому роман обязан — вот родина моего постмодернизма — отражать изменения самого автора. Ведь жизнь-то все равно идет. А ты скрываешься от нее, пишешь. Но когда ты сам меняешься — тогда это и есть роман. Взаимный процесс — ты его пишешь, он тебя пишет. Повесть еще можно продержат на искусственном дыхании, роман сложнее. Для меня, кстати, «Евгений Онегин» — тот самый роман, где автор все время меняется, и потому-то это и есть первый постмодернистский роман, где есть и автор, и герой, и взаимоотношения. Вообще с этой точки зрения. Золотой век весь постмодернистичен, только намного лучше, чем сейчас. В Америке такие лекции читают: «Россия — родина постмодернизма», «Пушкин — первый постмодернист» и прочее. Эти люди приходят свежими, первыми выплескивали свой жанр и уходили. А эти наши постмодернисты, современные, уже успели устать.

— Ну, может, сейчас просто время такое, такая какофония, и потому верный звук не дается. Не может же быть, чтобы не было ни одного гения?

— Но мы же не знаем, может, сейчас где-то сидит мальчик и пишет гениальный роман, откуда нам знать? Кстати, единственное, что говорит в пользу того, что Шолохов мог все это написать, так это его возраст.

— Почему?

— Потому что сделать это — поднять аутентичную картину мира, которую никто, кроме тебя, не видит, — мог только очень молодой человек. Для этого нужна страшная энергетика. И не только твоя. Это можно сделать один-два раза, а потом выдыхаешься.

— А как вы создавали аутентичную картину мира, когда мир этому совершенно не способствовал? Ну, скажем, в так называемый «застой»? Время-то вязкое...

— Оказывается, я в первый раз сел писать в ту минуту, когда

сняли Хрущева. И, как оказалось, я всегда садился, когда началась очередная эпоха. Как бы появлялась энергетика картины мира. И я успевал это зафиксировать. Ну конечно, не специально я так делал.

— Подсознательно?

— Это подсознательно совпадение, но до него нужно дозреть.

— А как же вдохновение? То же — раз, и приходит?

— Да, вот вдохновение как раз не вечно. Думаете, почему наши писатели так рано вешались или стрелялись либо находили себе пулю на дуэли? Конечно, чудовищная страна, чудовищный царизм, чудовищная пошлость света; чудовищный ГУЛАГ, советская власть и прочее. Но тут другое. Вдохновение — это такой тип иглы, с которой, видимо, трудно слезть. А оно, повторяю, не вечно. Это стадия развития, и делать из нее профессию нельзя: теряя вдохновение, человек начинает натурально страдать.

— Возвращаясь к конгрессу — он как-нибудь будет способствовать нашей интеграции в мировой культурный контекст? Как вы думаете?

— В этом смысле ничего нельзя планировать. Странно, но общими миром часто оказывается то, что сделано для себя. Национальное. Не в националистическом смысле, а так, как ты даже сам не осознаешь. Вот мне не надо осознавать, что я русский! Пусть другие увидят, что есть какой-то странный поворот, еще что-то кроме индивидуальности, какой-то плюс. Китаец умнее русского? Русский умнее китайца? В разных ситуациях один может оказаться глупее другого, потому что у них разный поворот ума. И это заключено в языке.

— А язык — это все? Он везде, как Бог? Он что, первичен?

— Ну для человека — да... Хотя язык есть у всего, у камня даже. Но говорить можно только здесь и сейчас, сказать можно только ту мысль, которая только что у тебя возникла. А вот мне, знаете, сейчас становится все сложнее выразить то, что я чувствую. Вы говорите — мастерство растет. Да, оно у меня имеется, но оно мне все-таки не годится, чтобы выразить то, что меня интересует.

— Может, у вас требования повысились?

— Ну да, способ придумать задачу вырос, а энергетика, чтобы ее выполнить, уменьшилась. Такой зазор. Но молчание тоже замечательный процесс. И его, как и энергию, можно повернуть в разные стороны. Как сказал мой друг Юз Алешковский — вот еще зачем конгресс нужен, чтобы Юз приехал! — непротивление злу насилием над собой. Ведь вдохновение — такая вещь, которая вырабатывается самим организмом, и если человек одарен, у него повышено выделяются эндорфины, он как бы сидит на внутренней игле. А ломка ужасна.

— Вы так странно об этом говорите... Неужели все эти Гамсуны мучились по таким «физиологическим» причинам? А как же отчаяние, ужас богооставленности и прочее?

— Ну это потому, что вера тебе дается до определенного времени, а потом ты должен сам идти. Как у Толстого отец Сергей — когда он уже совсем святой и тем не менее говорит: «Боже, за что не даешь мне веры?» Кстати, я сейчас как раз пишу продолжение «Человека в пейзаже», и это как раз завязано на этом опыте «богооставленности». Смешная будет вещь. Поздние помыслы Павла Петровича. Ой, нет, нельзя заранее рассказывать. Ну, в общем, Павел Петрович у меня получился. Такой образ русского человека. Хотя все придумано, нет никаких прообразов. А все думают, что списано едва ли не с самого себя. Но это все сочиненное — таких дедушек не было, но потом вдруг — знаете, смешно — они оказались. Бездну прообразов увидел в самой жизни. А теперь, когда сам приближаюсь к этому возрасту, понял, что спроектировал двух стариков на самого себя. Через 30 лет я могу быть либо тем, либо другим стариком. Но мне захотелось... третьим. Хочу выбиться из генотипа. (Смеется.)

— Вы думаете о возрасте?

— О возрасте и о смерти. Вот две тайны, вставленные в нас Господом, и сколько умов билось — так ничего и не поняли. Но возраст, знаете ли, открывает новые лакуны существования. Да-

рует вам все большую приватность, например. Я в свое время боролся с тенденцией, что, мол, Пушкин умер от того, что уже все сделал. Что, мол, стариком его нельзя представить. Да, Пушкин был изобретательный человек! Уехал бы за границу, писал бы историю, и потом у него впереди был великий путь прозаика. Так что нечего говорить — вы уже не делаете восемнадцать с половиной футов. Ну не делаем! А может, зато я пешком красиво хожу! И потом, жизнь не только в писании. Есть такая вещь, как жизнетворчество. В сегодняшней жизни, как бы ее там ни ругали, это возможно. Раньше написал манускрипт — и он лежит сто лет. А сейчас все сразу и так, как я этого хочу. И единомышленники находят. Вот в прошлом году вышла моя книга «Предположение жить» — о Пушкине плюс пушкинские тексты, выстроенные хронологически за последний год жизни. Вот я нашел такой способ изобретательства.

Вообще когда жизнь тянется, возраст такая интересная вещь — он дает тебе попробовать то, чего ты никогда не пробовал. С возрастом выяснилось, к примеру, что я игрок по натуре — на рулетке у меня сразу поперло, даже страшно стало, доходило до того, что номера угадывал. А вообще вся эта история с конгрессом — это ведь тоже игра, многоходовая, длинная, трудная. Даже если напрямую не касаться политики, то сейчас нужно говорить об огромной национальной ответственности, ибо чтобы выйти из этой нашей истории, что тянулась три поколения подряд, нужно еще два поколения. Одно уже есть, за эти 15 лет свободы сформировалось, и преступление — уничтожить это первое свободное поколение. Оно ведь еще не успело как следует народиться, должно родиться следующее и вымереть мое подлое поколение. И это гнилое поколение, к которому принадлежит наш президент, — тоже безвременное, пустое. Им не досталось, добрать нужно. Делать. В России власть не категория, а материя, и вот опять рвут эту материя. Боятся, боятся, что родится Человек.

Диляра ТАСБУЛАТОВА